

Г 453-пн

142/108

С. ГЕХТ

ПАРОХОД
ИДЕТ В ЯФФУ
И ОБРАТНО



ГОСЛИТИЗДАТ

1936

3 p. 25 к.

V.N. Karazin Kharkiv National University



00461286

1

1



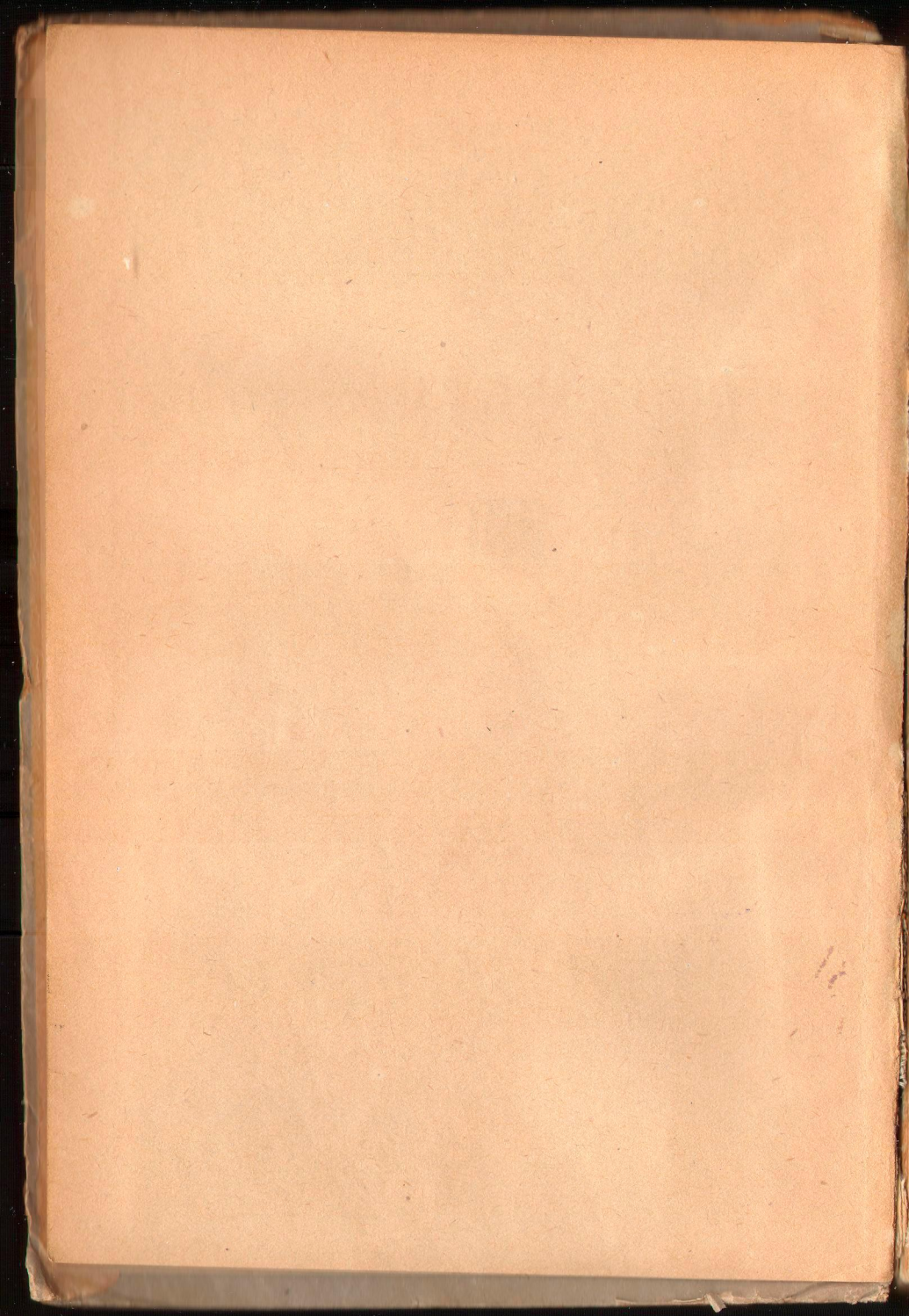
1838

1838

1838



ГОСАНТИЗДАТ

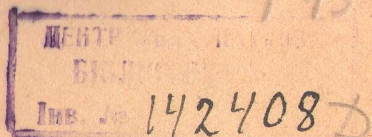


Г-45

Г-453-п.и.

С. ГЕХТ

ПАРОХОД
ИДЕТ В ЯФФУ
И ОБРАТНО



20

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
МОСКВА 1936

Проверено
ЦНБ 1939

58

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мистера Джемса Броуна кусали комары. Они сидели на щеки, залезали под ворот. Был час комариной ярости, вечерний час в тайге.

Спасался от комаров и я. На реке Бире, у станции Тихонькой, стоит большая сопка. Она поросла лесом по самую макушку, кедр идет за лиственницей, лиственница — за кедром. Сопка стоит давно, со времен столь старинных, что этого не помнят ни казаки-старожилы, ни орочи — древние обитатели тайги и болот Уссури. Я взбирался на сопку, спасаясь от комаров. На одной из тропинок я услышал позади себя жалобные английские ругательства.

Я повернул назад и пошел навстречу истерзанному таежным гнусом иностранцу.

— Мистер Броун! — воскликнул я. — Неужели комары следуют за вами? Здесь их нет и в помине.

— Знаю, — ответил он, вздыхая, — знаю, но мне все еще кажется, что они кусают.

Теснясь, мы ползли вверх по тропинке. Ее обсыпали иглы, ноги скользили, как на катке. Мы хватались за кусты. Хвойная прохлада щекотала ноздри и раздвигала легкие. Мы ползли все выше. Кедр обрушил на нас свои шишки. Ветер прошумел в сосне.

— Олл-райт? — спросил я.

— Очень хорошо, — ответил Джеймс Броун. — Но посмотрите, как изуродовал меня ваш биробиджанский гнус.

Действительно, знаменитый кооператор из штата Юта показался мне смешным: таежная нечисть исклевала все его лицо, образовав оспинки и бугры; левый глаз перекосило.

— Вы хотите сказать, какое у меня лицо? — спросил мистер Броун. — Оно имеет глупый вид, будто бы я хочу расплакаться и не могу? Я заглянул в карманное зеркальце.

Через несколько минут мы оказались на вершине сопки. Мы расстелили плащи. Легли на землю.

— Как вы думаете: сегодня будут звезды? — спросил Броун.

— Будут, — ответил я.

— Очень хорошо. Скоро взойдет луна.

Мы закуривали — каждый по-своему. Он, не спеша, чистил булавкой трубку, плотно запихивая в нее медовый табак, приминая большим пальцем, и долго обводил вокруг нее зажженной спичкой, как вокруг жертвенника. Я же выловил из портсигара папироску. Мы были знакомы всего несколько дней. В тот год Биробиджан еще не был автономной еврейской областью. Было ему от роду всего десять месяцев. В долинах рек Биры и Биджана, у подножий сопки — между Амуром и Уссурийской железной дорогой — устраивалась первая партия переселенцев. Они сколотили себе кое-какие дома, разбили огороды и засеяли раскорчеванные участки гречихой.

В тот год в еврейских газетах Америки появились статьи, где авторы обвиняли советское правительство в том, что оно загнало бедных евреев из местечек на край света, в каторжные места, где земля ничего не родит. Они восклицали: «Это — обреченный край, братская могила для переселенцев, страна без будущего!» Число этих статей росло, они тревожили умы и сердца. Общество рабочей помощи Икор в Америке задумало в 1929 году послать в Биробиджан на-

учную экспедицию. Ее составили три американца и три американских еврея. Американский еврей Джемс Броун был душой экспедиции, американец Вильям Гаррис, президент университета штата Юта и профессор-геолог, был ее главой. Среди членов экспедиции были агрономы и дорожные инженеры.

«Вы поедете туда и потом расскажете нам, выйдете ли что-нибудь на этой земле», — так потребовало от своих посланцев правление Икора.

В полдень от Нью-Йорка отвалила многоэтажная «Экотения», за четыре дня пересекла океан и высадила экспедицию в Шербурге. Шербург — Москва, Москва — станица Тихонькая — таков был дальний путь американцев. Они много говорили в поезде о том, как велик Советский союз, если путь от Америки до Москвы — через многие страны — занял меньше времени, чем дорога от советской столицы до Биробиджана.

В тот год я выехал по делам службы в Уссурийский край и встретился с членами экспедиции у подножья горы «Бомба». Я обрадовался их гостеприимству, примкнул к ним и плавал вместе с ними по воронкам Биры, шатавшим наши углые гольдские челны. Я побывал вместе с ними в первом селе Худинове, в Ландоко. Затем — привал. Утром экспедиция отправлялась верхом в Бирефельд. Все спали — набирали силы. Джемс Броун вышел погулять, но его искусили комары, и вот он взобрался вместе со мной на сопку. Взошла луна. Она расположилась на два пальца правее верхушки того кедра, под которым мы лежали.

— Олл-райт, мистер? — спросил я Броуна.

— Очень хорошо, товарищ.

Он чуть приподнялся с земли, снова завопил с своей трубкой-жертвенником и горячо заговорил:

— Вы подумайте только: эти бывшие местечковые евреи потешались надо мной, когда я жаловался на комаров: «Нас они уже не кусают! Мы уже не боимся! Нам уже в полной степени на них наплевать!..»

Мистер Броун передразнил напевно-скептические интонации своих соплеменников и продолжал.

— Думаю, что они немножко врут. Иммуни-тет, им-мунитет! Слишком рано появился у них этот им-мунитет. Но вы заметили: никто из них не пользуется сеткой?

— Заметил.

— Никто, даже женщины! Это очень хорошо, или, как вы говорите, олл-райт.— сказал мистер Броун.— Я рад за наших евреев: у Бирсбиджана есть будущее.

Я еще внимательнее вслушался в его слова. Это было первое ясно высказанное мнение члена экспедиции. Я засыпал Броуна вопросами.

— Родят ли пашни?

— Чепуха! Это прекрасная плодородная земля! Здесь,— говорил Броун,— могут вызреть отличные овощи. Рис? Сам бог создал этот край для риса...

Броун вздохнул.

— Край еще не обжит, совсем не обжит. Надо проложить дороги, осушить болота...

— И прогнать мошкар, — пошутил я.

Броун показал на землю, лежавшую во мраке.

— Они говорят, что мошкара уходит. Они прогоняют ее первыми дымами своих первых селений. Встанем!

Мы встали, накинули на себя плащи. Джемс Броун вытянул руки, раздвинул сучья кедра.

— Посмотрим вниз,— сказал он,— охватим одним взглядом нашу новую родину.

— Ничего же не видно: темно,— возразил я.

— Как! — воскликнул Броун.— Неужели я, американский обыватель, должен учить советского революционера? Здесь находится,— он ткнул в темноту,— станица Тихонькая. Ее освещают огни, стучат сердца лесопильных заводов, отсюда уходят в тайгу грунтовые дороги. Там я вижу пашни, огороды, пасеки, мельницы, школы, рисовые совхозы...

Я рассмеялся.

— Вы говорите так,— сказал я,— словно вы не заезжий американский гражданин, а советский человек.

— Если вы любите женщину, которая предпочи-

тает блондинов,— произнес Броун,— то вы готовы ради любви к ней стать блондином. Я сейчас побывал всюду, где водятся евреи, я видел румынский пауперизм, польскую нищету, немецкую ассимиляцию и палестинскую безысходность. Что же? Я убедился, что только советская власть может достойно разрешить еврейский вопрос. Ради одного этого я готов стать комиссаром... Только ничего не говорите мистеру Вильяму Гаррису.

— А он? — спросил я. — Что думает мистер Гаррис?

— Он думает то же, что и я, но не любит открыто признаваться. Мистер Гаррис сказал мне по секрету, что только советская власть... Вы понимаете? Он принадлежит к тем американцам, которые считают, что советская власть вне своих границ, — это, разумеется, нонсенс, но у себя на месте она очень, очень кстати.

— Мистер Броун, — сказал я, — вы давно были в Палестине?

— В прошлом году, — ответил он.

— Расскажите о ней.

— Нечего рассказывать, — сказал Броун. — В такую ночь и не хочется о ней вспоминать. Будьте любезны, покажите мне «Вегу».

Я нашел «Вегу» в звездной неразберихе и ткнул пальцем.

— А «Кастора» и «Поллукса»?

— Вот они.

— Отлично! — воскликнул Броун. — Вы нашли во мне лучшего друга, если так хорошо знаете природу. Вы ее любите?

— Люблю, — ответил я.

— Надо вернуть нашей нации природу, — сказал Броун, — надо вернуть ей утерянное лицо. Говорят, местечки пустеют, нет на Подолии больше евреев-коммерсантов.

— Правда, мистер Броун: нэп кончается, началась первая пятилетка.

— Это очень хорошо, товарищ. Да, вы спросили меня про Палестину. Там совсем худо: ее душит экс-

портная проблема. Никто не покупает вино... продукты не имеют сбыта.

— А промышленность?

— Вы хотите сказать — тяжелая? В Тель-Авиве я видел много заводов; они производят... сельтерскую воду.

— А план электрификации Палестины? — спросил я.

— Вы знакомы с планом Рутенберга? — удивился Броун. — Ведь англичане его зарезали. Зачем это им? Сознайтесь: вы когда-то мечтали о святой земле, о горах Иудеи, пашнях Хеврона... Мечтали?

Он угадал. В дни отрочества и я носился с мечтаниями о возвращении на легендарную родину, о независимости на Средиземном море, о дочерях Сиона с тимпанами и бубнами...

— Благодарите судьбу, — сказал Броун, — что не поехали туда в золотую и обманчивую пору декларации Бальфура. Как ринулись тогда евреи! Впрочем, англичане живо захлопнули границу.

— Мистер Броун, — ответил я, — в ту пору в Палестину бежал из России мой лучший друг Александр Гордон. Не встречали?

Броун задумался.

— Гордон? — переспросил он. — Александр? Нет, не помню. Он вам писал оттуда?

— Писал, — ответил я.

— Сначала восторженно, потом он умолк — так? Затем письма дышали отчаянием и, наконец, он снова умолк? Навсегда?

— Чистая правда, — ответил я с удивлением. — Откуда вы знаете?

— Не думайте. ради бога, что я — пророчица Дебора или мадам Тэб: судьбы еврейских молодых людей — такой же стандарт, как вот... мой подтяжки. Первые дни полны ликования, и они рассылают сотни открыток во все концы света с восторженными и заносчивыми восклицаниями. Затем они замечают: «Э, что-то не то...» Они застенчиво умолкают, надеясь, что все переменится, будет хорошо, они даже привыкают, а годы идут. Тогда их охватывает тоска, безнадеж-

ность, они видят, что мечты о независимости — мыльный пузырь, и своя страна — мыльный пузырь, и что вместо величия нации существует один противный субботний кувальда... И они снова рассылают во все концы света открытки, полные отчаяния. А потом? Потом они вживаются в свою разбитую клопину жизнь и умолкают навсегда. Как вы называли вашего приятеля?

— Александр Гордон.

— Такова жизнь Александра Гордона, — сказал Джемс Броун.

Шум сосен и кедров будил воспоминания. В такую ночь человек говорит и медленно, и значительно, с легким удивлением, прислушиваясь к звуку своего голоса, подобно чревоушнику. Я сказал так:

— Мистер Броун! Жизнь моего друга Александра Гордона могла стать моей жизнью. В какой-то день наши дороги разошлись, но долго неслись они прямо — две стрелы, две параллели. Представьте себе Болгарскую улицу на Молдаванке, в Одессе. Два мальчугана рассмотрелись библейских картинок, послушались заманчивых рассказов о пастухах и виноградарях святой земли, о дочерях Сиона, собравшихся у колодца. Мы клялись друг другу, бродя по Болгарской. Дворнички дети посылали нам в спину оскорбления. — «Александр, мы поедем домой?» — «Поедем». — Мальчики жмут друг другу руки, читают нараспев Библию и ходят по вечерам на Большую Арнаутскую, в синагогу — клуб Явне. Ораторы зовут домой. Усышкин говорит о родной земле, Жаботинский рисует перед трахомными глазами мечтателей еврейские легионы, и семь братьев Маккавеев смотрят с упреком на обнищавший духом народ...

— «Ойд лов овдо...», — тихо пропел Броун первые слова сионистского гимна и засмеялся. — Еще не потеряли мы надежд? Плохо! Там, на берегу Средиземного моря, мы их уже потеряли. Вы знаете модный палестинский анекдот?

— Что такое Палестина? — спросил Броун и сам же себе ответил: — Власть английская, земля арабская, страна еврейская — вот что такое Палестина. Сидишь

в Тель-Авиве на бульваре Ротшильда и слышишь сотни жалоб от таких Гордонов, но потом они отправляются на пляж, облачаются в купальные костюмы, поют «Ойру» и делают вид, что будущее уже стало настоящим. Затем они поднимаются в береговое кафе и за стаканом молока узнают о новом погроме в Иерусалиме. Если вы вспомнили, мой друг, советский революционер, о Болгарской улице, то позвольте вам сказать, что американец Джемс Броун родился на Запорожской улице, она пересекает Болгарскую.

— Как? Вы?

— Я также вырос в семье полу-сапожника, полу-маклера, и мой отец, Вениамин Бронштейн, похоронен на третьем одесском кладбище.

— Правда, правда,— сказал я,— у нас там было четыре кладбища. На первом хоронили миллионеров и стотысячников; их укладывали в мраморные склепы с райскими изображениями на каменных плитах. Их отпевал кантор Маньковский, их навещали толстые старухи в черных шелках. Они приезжали сюда в лакированных экипажах.

— Господин Ашкенази,— вспомнил Броун,— господин Блюмберг, господин Хаес...

— А на второе кладбище свозили адвокатов, зубных врачей и торговцев с Привоза. Их отпевал кантор из Шалашной синагоги. Здесь не было склепов, но все же покойников размещали удобно...

— За зелеными оградами,— сказал Броун,— среди тенистых акаций... и сторожа обходили свои владения, прогоняя бродяг и влюбленные парочки.

— Третье кладбище,— продолжал я,— было далеко за городом, рядом с сумасшедшим домом, на глухой и скандальной слободке Романовке. В ужасной куче теснились бедняки и члены погребального братства; они жаловались, что нищие их разоряют. наших бедных отцов хоронили быстро и бесплатно. Вместо акаций рос дерн, вместо гранитных памятников над убогими и неряшливыми холмиками возвышались деревянные таблички...

— И еще было четвертое кладбище,— сказал Бро-

ун,—кладбище для самоубийц, для тех, кого религия поставила вне закона.

— Для самоубийц и повешенных за революцию,— произнес я.— У моего ребе Акивы повесили дочь: она покушалась на жизнь киевского генерал-губернатора. Ее свезли на четвертое кладбище...

— Да,— сказал Броун,— о чем только не думаешь в такую ночь! Я вам сейчас скажу, что было мечтой всей моей жизни... Я хотел сблизиться с природой. Как сеют хлеб, как растет трава, как поют птицы — все это меня занимало. Но из одного каменного мешка я попал в другой. А я знаю, что возрождение нации произойдет на земле. Вот советская власть сажает евреев на землю. Как это близко моим идеалам! «Нет,— думал я,— уж я-то окончу свои дни в тени деревьев, под пенье птиц и возню всякой степной твари». И я своего добился. В штате Юта у меня есть маленький участок. Я разбил сад, посадил несколько гряд овощей, развел пчел. Ни один гость не уезжает от меня без букета моих цветов. А если б вы знали, как я ссорюсь с нашими евреями-кооператорами! Если ко мне приехал гость, и я вижу, что кроме поккера и патефона его ничто не занимает, а его нос и уши закрыты для природы,— кончено: такой гость для меня больше не существует. Я не люблю этих людей и готов бежать от них, как от комаров. Вы спите?

— Конечно, нет, мистер Броун.

— Вы понимаете: в такую ночь говоришь очень правдиво. В такую ночь... Ну и что же ваш приятель?

— Я тогда был на фронте — где-то под Воронежем — и вдруг получил из дому запоздалое письмо. Там среди всякой мелочи мне рассказали и о том, что Александр Гордон спрятался в трюме какого-то английского парохода и таким образом перебрался в Палестину.

Рассказывая, я вспоминал.

Что с тобой случилось, Александр? С годами мы стали забывать легенду о родине, а с первых дней Октябрьской революции и не вспоминали больше о святой земле. Зброшен клуб «Маккаби» на Херсонской,

клуб богатых юношей. Сам Александр его так назвал. На Болгарской, в библиотеке имени Пушкина, собирается кружок революционной молодежи. Меньшевик Штерн, известная личность, заглядывает к молдаванским парням.

— Мои молдаванские парни,— говорит рабочий-меньшевик интеллигенту-меньшевику, знаменитому Никите Сухову.

Товарищ Штерна — Зильбер. Зильбер — большевик. У него срезано по два пальца на каждой руке.

— Мне советовали: не лезь руками в машину,— смеется Зильбер,— а я замечтался. Один раз замечтался, другой замечтался...

— Мои парни,— говорит о нас Зильбер.

В самом деле, я и Гордон были до революции зачинщиками детской забастовки у Полякова, а Зильбер бодрил:

— Давай, ребята, давай. Серьезней надо, серьезней.

У кружка был председатель — Александр Гордон. По ночам, жалуюсь на скверный свет, он лепил из грязной глины фигуры для нашего клуба.

— Вот поставьте. Я сделал Дантона.

— А Марат?

Через три дня готов Марат.

— Если мы поставили здесь Дантона и Марата,— говорят товарищи,— то надо и Робеспьера.

Вдохновение наполняет нас бодростью. Через три дня готов Робеспьер. Бюсты стоят под портретами Пушкина, все рядом. Голова одного — большая и курчавая — величаво покоится на широких плечах, у другого она так и рвется из туловища, а третий втянул ее в шею. Около каждого — табличка: «Воспрещается трогать: они еще не обсохли».

Где же сейчас Александр Гордон? В письме, присланном от него в Воронеж, была короткая строчка, замечалось всего одна мысль: его, как и многих, взволновала декларация Бальфура...

Ветер раскачал верхушку кедра, и на нас упало несколько шишек.

— Очень хорошо!— воскликнул Броун.

Он помолчал и сказал:

— Декларация Бальфура — это ворона, названная английским парламентом синей птицей и выпущенная им из клетки законодательной казуистики. Ваш друг стремился, конечно, стать «сторожем пустыни»? — спросил Броун.

— Мечтал, — ответил я.

— Еще бы! Знаете, что хорошо здесь — в Биробиджане? Мне нравится, что тут нет этого обманчивого энтузиазма. Здесь у вас все строится на здоровой экономике. Правда, одна вещь мешает быстрому развитию Биробиджана.

— Какая? — спросил я.

— Ваша пятилетка. Мне вчера рассказывал Робинсон...

Робинсон был в ту пору главным уполномоченным Биробиджана.

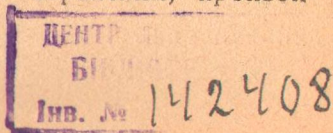
— ...что сюда едут большие партии переселенцев. В местечках, слава богу, больше нечего делать. Они едут сюда, но их путь лежит мимо Урала и Сибири. А на Урале — пятилетка, строится множество заводов, и в Сибири — то же самое. Им нужна рабочая сила, и многие переселенцы застревают в дороге.

— Это не так плохо, — сказал я.

— Для кого?

— И для страны и для евреев.

— Но не для Биробиджана, — ответил Броун. — Я с вами согласен, но мне немножко жаль наш Биробиджан и эту нашу еврейскую сопку с ее еврейскими лиственницами и кедрами. Как приятно, товарищ, когда еврей возится со свиньей, обхаживает ее, выкармливает! Мы были позавчера — вы помните? — в колхозе «Нейе Вельт»... Там, где большие стога сена... я разговариваю с ними, разговариваю и, нет-нет, полюбуюсь, как наши талмудисты ворошат сено, как они полют огурцы и картофель, скребут и чистят лошадей... А раньше? Что он бы вам ответил раньше, этот копеечный талмудист? — «Лошадей чистить? Не еврейское дело! Косить сено? Не еврейское дело!» Вот когда нееврейское дело станет еврейским, произой-



дет полное возрождение народа. Смотрите! Скорей! Скорей! Какая досада... Упустили!

— Что такое? — спросил я.

— Прямо под нашим кедром упала звезда, — ответил Броун. — Она покатилась вон туда, в Биру... В такую ночь хочется вспомнить всю жизнь и пропустить эти тысячи дней, как солдат на параде.

— Но есть дни, — возразил я, — которые, действительно, стоит пустить на парад воспоминаний, а есть и такие... их хочется прогнать сквозь строй.

— «...И с отвращением читая жизнь свою?..» — спросил Броун.

— «...Я трепещу и проклиная...», — ответил я.

— «...И горько жалею, и горько слезы лью...» — сказал мистер Броун.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кедры Ливана!

Кедры Ливана, воды Кидрона, пески Галилеи.

Пески Галилеи и Вифлеем с гробницей прапавтери. Виноградники Хеврона, колодцы Иерусалима, замок Давида, разгромленные ватаги филистимлян.

Как огорчали молодого Гордона длинные сны с жалким пробуждением! Где же лиловые высоты святой земли и склоненные стебли иорданских тростников? А цветущая влага Иезрельской долины? И золотая кожа сионских дочерей, пляшущих под звон тимпанов? Где все это?

В действительности была только шестиногая кровать, на которой Гордон спал в окружении всей семьи. Духота создавала сновидения. Они являлись отцу-сапожнику и матери-домохозяйке и сестрам-белешвейкам.

— Что тебе снилось, отец?

— Как будто я уже не сапожник, а меховщик. Дом на колесах, и крысы на амвоне... Э, какая чепуха! Но что же потом? Дети мои, что было потом?

Мать видела во сне всех умерших родственников:

Иосифа-кантониста, Хану-акушерку, известную в свое время тем, что у нее была легкая рука, и погибшую от родов, Иерахмиеля, сборщика податей, и самого Макса Францевича Воскобойникова, почетного члена трех обществ: «помощи больным», «по обеспечению невест приданым» и нееврейского «общества покровительства животным», где его очень уважали и куда он пожертвовал тысячу мисок с цепочками. Миски привязывались к уличным деревьям, дворники заботились, чтобы всегда в них была вода, и бродячие собаки утоляли бы здесь свою жажду.

А сестры? Сестры видели во сне то, чего они так и не увидели никогда на яву: негорбатых молодых людей со стэками в руках и в накрахмаленных манжетах. Они целовали сестрам руки, нанимали, не торгуясь, извозчиков с экипажами, снабженными резиновыми шинами, угощали их дамскими папиросами и глазированными фруктами и увозили ужинать в зеркальный, в бумажных цветах, японских фонариках и лампionaх ресторан «Илиади».

Гордон просыпался с криками. Выпутываясь из кучи тел, он озираал комнату с темными обоями и двумя отпечатанными в Лейпциге репродукциями, изображавшими доктора Герцля, австрийского драматурга, основателя сионизма и друга турецкого султана, и мудреца Монтефиоре, осушившего бокал за благо мира в день своего столетнего юбилея. Гордон освежал тронутые трахомой глаза и с болью возвращался к прерванным снам.

Он посещал клуб Явне, названный так в честь старинного университетского города. Там бывал сам Усышкин, толстый деятель сионизма, там доктор Клаузер, худой и волнующийся, более похожий на лилипу, чем на доктора, читал для изысканной публики на древне-еврейском языке свои изысканные лекции. Люди средних лет сюда не ходили; здесь бывали старики и молодежь, молитвенно затихавшая при приближении доктора Клаузенера.

Наслушавшись речей доктора Клаузенера, которого он плохо понимал, Гордон стал распространителем

«шекелей». (Шекель — это квитанция, выдаваемая за полтинник, внесенный в пользу сионистского комитета.) Гордон ходил со своими шекелями по богатым домам города.

Сам Блюмберг выходил на звонок. Он спрашивал:

— Разве мои люди не говорили вам, что я не могу вас принять?

— Они сказали мне это вчера.

— Что ж вы от меня хотите?

Так спрашивал мануфактурщик Блюмберг и покупал один шекель. Он жертвовал пятьдесят копеек на основание еврейского государства. Столько же давал господин Функель, внесший десять тысяч рублей в институт царицы Марии Федоровны. Правда, там его наградили чином статского советника и выдали шпагу, которую он носил на левом бедре.

В тот год мы увидели живого царя. Наш город праздновал двухсотлетие полтавской победы. На Куликовом поле поставили плохой памятник. Сам Николай Второй приехал его «освятить». Нас муштровали целую неделю. Попечитель всех городских училищ осмотрел наши черные костюмчики из сиротского сукна и грубые шинельки с зашитыми в сукно пуговицами. Носить пуговицы открытыми была привилегия гимназистов. Для этого нужно было быть сыном купца первой гильдии или принять православие. Мы же учились с Гордоном в Свечном училище. Оно называлось вторым казенным. Здесь проходили краткий курс практических наук, готовили конторщиков и бухгалтеров. Училище существовало на деньги свечного сбора. Нас поставили в самом конце поля, и царь проехал мимо нас в открытой машине. Старый инвалид с георгиевским крестом вынырнул из толпы и бросился на землю перед царским автомобилем. Его обидели чиновники, он искал помощи у царя-батюшки.

— Царь-батюшка! — закричал инвалид. — Ваше императорское величество!

На него набросились со всех сторон. Дюжина приставов и полковников оттащила его в сторону, а царь очень испугался и уткнулся в угол машины.

Праздник кончился. Царь уехал в Петербург, а георгиевского кавалера посадили в Чубаевскую тюрьму. Об этом говорили зубные врачи в своих салонах и адвокаты в кулуарах окружного суда. Об этом шептались лавочники, развешивая крупу и сахар, и школьники, играя на дворе в чехарду.

Среди других учителей был у нас Абрам Маркович Манылам. Он учил нас рисованию. Наши родители хотели видеть нас не художниками, а приказчиками, и потому рисование было необязательным предметом. Но в каждой роте есть свой запевала, и у нас был Александр Гордон. Его смешные рисунки и головы учителей, которые он лепил на дворе из глины, сделали его в наших глазах высшим человеком. Абрам Маркович Манылам любил поплакать; однажды он подошел к парте Гордона и обнаружил там полный ящик маленьких голов и фигур. Он рассмотрел еще сырую глину, поцеловал мальчика в макушку и заплакал.

— Кто знает, — сказал он и вздохнул. — Может быть, ты будущий Антокольский.

В детстве часто случаются чудеса. Как-то в зимний день учитель пришел с большим человеком. Большой человек был знаменитый скульптор из Парижа. Его звали Аронсон. Он взял Моисея, вылепленного Гордоном, покачал головой и пожал мальчику его грязную руку.

— О! — сказал Аронсон. — Надо учиться. Стòит.

Аронсон уехал, чудо ушло, а Абрам Маркович Манылам заболел. Уроки рисования прекратились. Мы зубрили историю «о наших предках-славянах», о Людовике Шестнадцатом, который разозлился на свой народ и навсегда покинул Францию, мы учили географию и готовились к двойной итальянской бухгалтерии. Покидая школу, мы шли с Гордоном на «Чумку». Это была невысокая насыпь. Гордон говорил:

— Вот горы Иудеи.

Мы гуляли по бульварной аллее, где цвели платаны и оркестр играл венские вальсы.

— Вот Средиземное море, — говорил Гордон, показывая на Черное.

Мы кончили с ним школу в первый год русско-германской войны. Нам обоим было по тринадцати лет. Он поступил приказчиком к Дубинскому, я — к Бомзе. Он разносил по домам колбасу и сыр, а я стоял за прилавком с карандашом за ухом и с аршином в руках. Когда магазин пустел, меня выгоняли на улицу зазывать покупателей. Я хватал их за полу, получал от них тумачи и затрещины.

— Дамочки! — кричал я. — Мамзельки! Мамочки!

А по вечерам мы опять мечтали о братьях Маккавях, о новом единоросте нового Давида с новым Голиафом. Когда Гордон слышал, с каким равнодушием евреи кричат в синагоге: «Пожелаем друг другу встретиться в будущем году в Иерусалиме!», он недоумевал: откуда их холодность? неужели они забыли? Но скоро стал забывать и он. Вяло шла торговля шекелями, и часто пропускал он лекции в Явне. Покамест он готовился к устройству своей жизни здесь, в России. Когда-нибудь, — не сейчас, — он поедет в Палестину, а может быть, не он, а дети его. Так думал он, никак не представляя себя, однако, отцом. И уже не щемило сердце, когда он слышал печальную песню школьников:

На дороге стоит дуб,
Он от старости согнулся.
Едет еврей в святую землю
С заплаканными глазами.

То были годы русско-германской войны. Улица, на которой жил Гордон, называлась «Мясоедовской». Когда повесили полковника Мясоедова, жители испугались: не обвинят ли в шпионаже и евреев? А улица была такая еврейская, что на босаяцкой Косарке о ней говорили, будто там из водосточных труб капает чесночный сок. Улица часто плакала. Нищие, умеющие прилично выть на чужих похоронах, стали хорошо зарабатывать. У Гордона был среди родственников один скорняк, заседавший в погребальном братстве. Теперь, когда Гордон ходил по улице, о нем часто шептались:

— Вы видите этого мальчика? Это — Гордон. У него есть рука в погребальном братстве.

Нет, мы не были в те годы наивными, мы были слепыми. О бескровном завоевании Палестины мечтали мы и, посещая синагогу в Явне, мы никогда не произносили этого страшного и неприятного слова — «завоевание». Мальчикам думалось так: турки согласятся, и арабы согласятся, и, наконец, весь мир согласится с тем, что, уничтожаемые царскими и румынскими жандармами, евреи должны тихо и спокойно, к общему удовольствию всех культурных людей, переехать в землю своих отцов. Так полагали в синагоге Явне, но иначе думали на Троицкой улице, в большом зале «Общества евреев-приказчиков», где иногда бывали лекции и шли споры. Как-то мы попали туда с Гордоном на доклад Владимира Жаботинского. Мы наблюдали множество потрясенных и растерянных лиц, но были и такие, что кричали вслед за оратором:

— Правильно! Сушая истина!

— Палестину надо отвоевать! Огнем и мечом мы вернем себе свою страну!

Я понимаю: если бы лекция была прослушана нами до войны, и мы бы так восклицали с Гордоном. Огонь, меч, война — все это звучало для нас так же бесплотно, как страшные библейские описания кровавых битв, как рассказы о жертвоприношении Иевфая, о подвигах Маккавеев и бесконечных убийствах. Но была война. Нас мучили ее ужасы, и нам было одинаково жаль погибших русских и немцев, англичан и турок, французов и австрийцев, сербов и болгар. Мы судорожно боялись крови, хотя и любили воинственные разговоры о прошлом. Однажды, после очередного спора о великих полководцах Иудеи мы прошли к морю, и на нашем пути попаласьдохлая собака: ее переехал экипаж. Железные колеса свернули ей голову, она лежала в крови — такая маленькая и жалкая, какими никогда не бывали даже печальные псы нашего города. Мы увидели кровь и вздрогнули. Гордон закачался, лицо его потемнело. Потом его стошнило.

— Я сегодня ничего не ел,— сказал он оправдываясь,— вот мне и стало дурно.

— Конечно,— ответил я,— ты нехорошо сделал, что не покушал.

Чудак мой друг! Он думал, что я поверю. И кому из нас нужно было подобное притворство, если тошнило и меня?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Александр Гордон в тот день ничего не знал о полковнике Лоуренсе и о генерале Алленби, который поднимал против турок арабские племена, в то время как немецкий генерал Лиман фон-Сандерс обучал константинопольских пашей.

Осенью 1916 года, ровно в полдень, в белую Джедду пришел из Порт-Саида пассажирский пароход. Арабы-кочегары поставили в угол лопаты. Английские кочегары лежали в судовом лазарете: в Красном море их свалило — перекрестный огонь невыносимого солнца и топок обессилил их. Капитан нанял арабов. Октябрь. Медная жара. Пассажиры — в прыщах. Они мазали лица вазелином и кольдкремом.

В этот день в России шел дождь. В городе Гордона был дровяной кризис. Жители говорили: «Идет дождь. Пора растопить печи». Они стали в очередь за керосином. По утрам ждали почту. Это была зловещая бесплатная почта. Она шла из действующей армии. Все читали неразборчивые подписи полковых адъютантов. Адъютанты сообщали: «Ваш сын пал смертью храбрых в бою под Перемышлем. Ваш сын та-та, та-та — под Ригой. Ваш сын та-та, та-та — под Пинском». Иногда эти неразборчивые адъютанты сообщали местонахождение могилы: «Ваш сын похоронен в деревне Равка, в братской могиле». Но люди стоявшие в очереди за керосином и сахаром, знали, что никто никогда не отыщет этих могил: нет этих могил на свете! И не хоронили их адъютанты: расклеванные трупы валялись, неприкрытые землей. А по вечерам писали

письма. Адрес был один: Кригсгефангенлагерь. Этот вездесущий канитферштан бывал то в Тироле, то в Баварии, то в Венгрии. Писали письма и ежились от осенней измороси. Ежился и Гордон, работавший фальцовщиком в газетной экспедиции. Очень холодно было в экспедиции, холодно и бело: растворялась в воздухе бумажная пыль. Трех фальцовщиков забрали на войну давно. Один был отравлен газами — он был одним из первых, для кого раскрылись голубые баллоны. Другой жил в плену, — он попал в немецкую деревню на полевые работы, и ему было хорошо: он жил с хозяйкой-солдаткой; а третий сидел в окопах. Потом были еще два мобилизованных фальцовщика. Этих взяли на войну недавно. Один служил в саперной части, другой — в артиллерии — вторым номером при шестидюймовке. Оба были живы, но письма писали, как из могилы. В экспедиции — холодно и бело, за окнами экспедиции шел темный дождь.

В октябре 1916 года английский пароход разгружал в Джедде пассажиров. Среди двух сотен англичан выделялся один. Он выделялся тем, что был короче других. Спускаясь по сходням, он снял свою войлочную шляпу и старательно разгладил волосы. Входя в новую страну, он готовил себя для нее. На берегу он нанял зеленую машину. Шофер повез его в гостиницу. Прощаясь со своими товарищами по морскому путешествию, короткий англичанин высунул голову из закрытого автомобиля.

— Мы встретимся! — крикнул он, улыбаясь.

— Конечно, встретимся, — отвечали из других машин. — Мы встретимся на ваших именинах Томас.

— Увы, на моих именинах.

— Почему — увy? — успели еще, разлетаясь, прокричать машины.

— Двадцать восемь лет! — Короткий англичанин издохнул с удовольствием.

Машины разлетелись в разные стороны, и короткий англичанин открыл окно. Стекло его обожгло. Этот

ожог ему понравился. Был аравийский полдень. Из пустыни, из Мекки возвращались караваны верблюдов и белые автобусы. Зной и удушье; пыль лежала на горбах и моторах. Англичанину нравилась пыль, нравился зной и удушье.

— Сэр, я вижу, вы здесь бывали? — сказал шофер?

— Да, — ответил короткий англичанин.

— Вы знаете город? — сказал шофер.

Короткий англичанин еще раз ответил:

— Да.

Смысл этого незначительного разговора был в том, что он велся на арабском языке. Шофер не мог не выразить своего удовольствия. Подъезжая к гостинице, он сказал:

— Как хорошо вы знаете наш язык, сэр.

В России шел дождь. Кончив работу, Гордон направился в клуб Маккаби. Он раскачивал в руке крохотный чемоданчик, где лежал гимнастический костюм. Этот чересчур легкий чемоданчик не шел к его широким плечам и жесткой одежде. На нем были: короткие сапоги, зеленоватые и грубошерстные галифе и грудастый френч.

Раскачивая чемоданчик, Гордон шел в клуб Маккаби. Он не был его членом: для этого надо было считаться партийным сионистом. Гордон даже не был «поалей-ционистом», «членом рабочей сионистской партии». Он умело пользовался несолидностью своего возраста, чтобы брать у маккабистов все, что ему было по душе. Вот, если была бы партия растревоженных библейскими сказаниями людей, он вступил бы в эту партию. Чего хотелось Гордону? Ему хотелось той жизни, чудесными рассказами о которой было сладко отравлено его детство: чтоб были горы, чтоб были шатры и водоемы, бараньи стада и виноградики, смуглые сионистские девушки и воины, сторожащие пустыню. Он брал у маккабистов все эти образы. Они были куда лучше холодной белизны газетной эк-

спедиции, типографских попок и бесчисленных национальных ущемлений.

Хождение с шекелями, которое он скоро прекратил, участие в благотворительных базарах, возникавшие иногда религиозные разговоры — все это Гордону не нравилось, всем этим он уже пренебрегал. Главным в клубе Маккаби было для Гордона физическое возрождение евреев. Он был убежден, что такие, то есть не горбатые и не пораженные трахомой юноши, не будут прятаться от погромов ни на чердаках, ни в подвалах. Клуб Маккаби был исходом из его печального детства, о котором он много будет вспоминать в Иудее по ночам, карауля пустыню. В клубе Гордон укреплял свою мускулатуру, выжимая гири, всползая на руках по отвесам гимнастических лестниц, прыгая, подобно дельфину, и опускаясь ласточкой в клубный бассейн. В этот день Александр собирался много плавать. Он расстался у входа в клуб с дождем и прошел в раздевалку. Там он нашел объявление о докладе. Раздеваясь, он спросил соседа, о чем доклад. Сосед сообщил: сегодня выступит сам председатель клуба, агроном Канторович. Он будет говорить о маккавейских батальонах. И сосед сказал:

— Конечно!

— С чем кончено? — спросил Гордон.

— С нашей бездеятельностью кончено. Сейчас не время разговаривать: мы не в синагоге. Если мы хотим получить свою землю, мы должны ее отвоевать. Наступило время осуществления мечты. Короче говоря: вы ничего не слышали о маккавейских батальонах? Мы будем драться против Турции. Владимир Жаботинский сколотил в Англии несколько таких частей. Нам надо хлопотать о зачислении в эти батальоны.

— Как?

— Ну, подать, скажем, петицию в военное министерство. Вы запишетесь?

Гордон помолчал и ответил:

— Нет, не запишусь.

— Не запишетесь? — спросил сосед. — Не запише-

тесь? — повторил он вслед за этим несколько раз, на-
каляясь возмущением.

— Нет, не запишусь, — отвечал, забывая свой воз-
раст, Гордон: — я ненавижу войну.

— Значит, вы не хотите умереть за Сион?

— Я согласен, — ответил Александр — умереть за Си-
он, но не желаю, чтобы за него умирал тот, кому он
не нужен.

— То есть?

— Я не хочу убивать турок.

— Послушайте вы, вегетарианец с Колонтаевской! —
кричал сосед. — Вас же все равно скоро возьмут на
войну. Надеюсь, вы не станете себе наращивать гры-
жу?

— Нет, не стану.

— Ну?! — вскипел сосед. — Значит, за русского ца-
ря вы готовы умереть, а за еврейское государство —
нет?

Гордон объяснил:

— За царя я пойду умирать поневоле, тут же идет
разговор о добровольцах.

Сосед закричал:

— Довольно! Я поставлю вопрос об исключении вас
из партии.

— Я не в партии.

Сосед ударил себя от досады по затылку.

— Зачем же я с вами разговариваю? Как вы сюда
попали?

— Меня рекомендовал Хаим Бялик.

— Хаим Бялик?! Откуда вы его знаете?

— Я работал у него в типографии, — ответил Гор-
дон, — фальцовал бумагу.

Тут ссора потухла. Знакомство Гордона с Хаимом
Бяликом успокоило маккабиста. Похлопав себя по спи-
не, они оба пошли купаться.

Вода была холодна и в Мекке. Короткий англича-
нин растянулся в ванне во весь свой небольшой рост.
Покидая ванную комнату, слуга сказал;

— Я вас помню, сэр. Вы всегда заказываете очень холодную ванну. Вы — ученый, сэр.

Короткий англичанин засмеялся.

— Иди, — сказал он. — Я сам знаю, кто я.

Это был известный ориенталист — археолог. Он уже бывал здесь до войны, делал раскопки. В 1916 году короткий англичанин прошел пешком всю Сирию. Он изучал архитектуру крестовых походов. Потом он поселился в Карчемише на деньги колледжа Магдалины. Это было после того как он окончил Высшую школу в Оксфорде. Короткий англичанин — сэр Томас Эдвард — учился в Джозус-Колледже, где по первому разряду сдал курс современной истории.

Сэр Томас Эдвард сидел в ванне двадцать минут. Одеваясь, он позвонил. Вошел слуга. Сэр Томас сказал ему:

— Пришлите мне машину: через час я поеду в Мекку.

— Какую машину, сэр?

— Все равно, — ответил короткий англичанин. — Нет, постой. Достань мне ту машину, на которой я приехал в гостиницу. Ты знаешь шофера?

Слуга ответил:

— Знаю. Это — Муса. Вы ему очень нравитесь, сэр.

— Он тебе это говорил?

— Да, сэр.

— Иди.

Через час к гостинице подъехал Муса. Короткий англичанин ласково с ним поздоровался.

— В Мекку? — спросил Муса.

— В Мекку, — ответил англичанин, — к дому шерифа!

— К дому шерифа! — восторженно повторил Муса.

Когда машина выскочила на шоссе, Муса сказал:

— Я про вас знаю, сэр.

— Что ты про меня знаешь?

— Вы работали на Синае землемером.

Действительно, несколько лет назад он производил для военного министерства геодезическую съемку Северного Синая. Он справился у Мусы, откуда тот знает. «Читал в Истиклале» — ответил Муса.

Гордон не пошел на доклад. Купаясь в бассейне, он

узнал, что после доклада будет запись добровольцев, ходатайствующих о зачислении их в маккавейские батальоны, формируемые в Англии. Что же это было за удивительное ощущение! Не Гордон ли мечтал об участии полководцев: Иисуса Навина, Давида, Иуды Маккавея, Голиафа? Кто знает: может быть, петиция в военное министерство есть путь к мечте? Тут просыпался в Гордоне практик, видевший и ощущавший всю кровавую несурязицу войны. В этом, видно, помогала ему нация. Нация, презиравшая и боявшаяся крови. И в нации же, думал он, была причина двойственности его поступков. Весь мир говорил об удивительном свойстве еврейского народа сочетать резкую способность к отвлеченному мышлению с столь же резким практицизмом. К тому же, на улице все еще шел дождь. В письмах пяти забранных на фронт фальцовщиков все неудобства войны были связаны с дождем. В последние дни в экспедицию часто приходила мать одного фальцовщика. Второй номер при шестидюймовом оружии был ее сыном. Она перестала получать от него письма. В эти дни русские войска покидали Галицию. Шло развернутое отступление из Червонной Руси. В очередях за керосином заметно прибавились траурные повязки. В экспедиции говорили: «Кончился второй номер». А мать второго номера приходила сюда плакать. Она плакала и мешала работать. Тюки и пачки летели через ее голову. Бумажный снег валился на ее нищенскую шаль.— «Кончился второй номер»,— сказал Гордону на улице его товарищ по работе. Он встретил его у клубных дверей. Под дождь товарищ рассказывал ему: сегодня днем мать получила письмо. А в письме было: «Ваш сын та-та́, та-та́ — под Журавой. Он похоронен в братской могиле». Затем следовала неразборчивая подпись полкового адъютанта.

Шофер Муса остановил машину у дворца шерифа. Короткий англичанин (из-за недостаточного роста его не взяли в армию) стал у дверцы машины. К нему вышла стража шерифа.

— Что прикажете передать шерифу, сэр?

— Передайте достопочтенному шерифу Гуссейну, что к нему приехал с визитом представитель Арабского бюро Томас Эдуард Лоуренс.

— Лоуренс, сэр,— повторил начальник стражи и пошел впереди гостя.

Томас Эдуард Лоуренс приехал с поручением от Форейнофиса. Накануне отъезда из Великобритании он беседовал с лордом Китченером.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Так Гордон дожил до девятнадцати лет. На улице была осень. В городе не было воды. Французы грузили свои пароходы. На заставах уже видели большевистскую конницу. Богачи платили десятки тысяч за иностранные паспорта и целовали ноги жадным судовым администраторам.

Дожив до девятнадцати лет, Гордон совсем забыл про цветущую долину Иезрееля. Прошли годы, когда он просыпался с криками, оглушенный жалкой явью. Прошли годы, когда он ходил в маккавейский клуб и слушал лекции доктора Клаузнера.

— Гордон, почему ты не ходишь в клуб?

Гордон молчит.

— Ты изменил родной земле, Гордон.

Так говорили ему юноши-фанатики. Они продолжали собирать шекеля и посещать клуб и готовить из себя будущих новожилов своей старой легендарной родины.

Но в эти дни Гордон посещал вместе со мной кружок социалистической молодежи. Он и сам не заметил перемены в себе. Детские мечты исчезли с первым пушком, проросшим на губе. Я поступил добровольцем в Красную армию, и наша связь прервалась. Может быть, он, подобно мне и многим своим сверстникам и единомышленникам, забыл бы совсем эти сладкие зву-

ки детства, подсказанные растревоженной библейскими сказаниями фантазией. Но по городу разнеслась весть о декларации Бальфура. В тот день, когда Лоуренс обещал Палестину вместе со всей Аравией арабам, министр Бальфур обещал ее евреям.

Тут случилась история с «Биконсфильдом». История случилась, собственно, не с «Биконсфильдом», потому что «Биконсфильд» был пароходом, а с семьей Цигельницких, пожелавшей на него попасть. Они заплатили две тысячи рублей в долларах судовому механику английского торгового парохода «Биконсфильд». Механик взял эти деньги и через час пришел за новыми. Он загнал семью Цигельницких в трюм и старался о них не забывать, пока не двинется пароход.

— Еще пятьсот,— говорил он по-русски, спускаясь в трюм.

— Одним словом,— жаловался старый Цигельницкий,— чем я ближе к могиле, тем я делаюсь опытнее. Теперь я знаю, что и среди англичан есть шантажисты и взяточники.

Цигельницкие не врали, когда говорили, что у них больше нет денег: они никогда не были богачами. В доме Блюмбергов их не принимали. Функель тоже дал им понять, что птица запела слишком рано.

— Это скандал,— возмущался в обществе признанных богачей Функель:— несчастные люди с трудом скопили жалкую тысячу рублей, и они хотят уже считаться богачами. Я же не лезу в главнокомандующие, несмотря на то, что я тоже умею ходить в ногу.

Гордон был соседом Цигельницких и хорошо знал, как они скопили свои две тысячи рублей. Старый Цигельницкий служил в течение десяти лет «зиг-редактором» в большой либеральной газете «Эхо Юга». Примерно раз в год к нему приходили из редакции и сообщали, чтоб он приготовил себе чистое белье. Это означало, что в газете появилась какая-нибудь смелая статья, и губернатор приговорил ответственного редактора к трем месяцам тюрьмы. Цигельницкий, подписывавший газету и получавший за это шестьдесят рублей в месяц, отправлялся сидеть.

Еще не уставшие остряки спрашивали его иногда на улице:

— Скажите, мосье Цигельницкий, почему у вас сегодня такая скучная газета? Вы, наверное, жалеете денег для Жаботинского?

— Ах, я не знаю,— отмахивался Цигельницкий.— Разве Жаботинский перестал писать?

Он был настолько не любопытен, что за все десять лет даже не развернул газету, которую подписывал. О Жаботинском он знал от детей. Он часто слышал, как они читали его фельетоны и похоронные речи в стихах.

Семья Цигельницких состояла из пяти человек. Как же случилось, что в тюрьме «Биконсфильда» их оказалось шесть? Неужели мадам Цигельницкая спешно родила?

Шестым был Гордон. Он слышал от Цигельницких, что они бегут на родину со всеми богачами, что у них есть место на пароходе «Биконсфильд», который войдет в Константинополь и Яффу. Потом он видел сумятицу, какая была в городе.

— В Яффу?

Ожила ослабевшая фантазия. Снова стали тесниться в голове лиловые высоты святой земли и склоненные выи иорданских тростников. Вот она, перед глазами, золотая кожа сионских дочерей, пляшущих под голоса тимпанов и бубен. Яффа — ворота обетованного края, родина первой гимназии, удачно возродившей забытый язык. От Яффы расходятся песчаные дороги и каменистые тракты на Газу, на Иерусалим, на Кайфу, на Хеврон, на Сихем.

Несбыточное стало для Гордона возможным. Надо только попасть в трюм «Биконсфильда». Неужели этот еврей, бывший английским министром и аристократом и ставший пароходом, не позволит ему притулиться в одном из уголков своего большого и теплого брюха? И Гордон примкнул к Цигельницким, не сказав им ничего об этом.

Они отдали все свои деньги судовому механику и в порт тащились пешком, волоча за собой свои кор-

зины с женскими кофтами со стеклярусами, множеством филактерий и запасами нюхательного табака. Когда механик увидел их, окруженных скарбом, он высокомерно на них посмотрел и не стал даже пересчитывать. Зато он слишком часто навещал их в трюме.

Выйдя из дому, Гордон завел со старым Цигельницким разговор об Уганде и о иеменских евреях. Гордон начал с того, что Израиль Зангвиль — человек, лишенный сердца.

— Скажите мне, — негодовал он, — зачем он хватается за Африку? Я знаю, что он тоже хочет, чтоб еврей были земледельцами. Но разве все равно, какую землю обрабатывать?

— Он потерял еврейского бога, — ответил старый Цигельницкий, довольный негодующими речами юноши.

— Нет, — продолжал Гордон, — не Парагвай и не Уругвай, а цветущие ячменем и пшеницей поля Хеврона.

— Поля Хеврона! — вздыхал старый Цигельницкий.

Когда они подошли к пароходу, старик хотел спросить Гордона: «Молодой человек, а ты куда?», но увидел безумие в его побелевших глазах. Если бы механик спросил: «А это кто? Тоже твой?», тогда другое дело! Он сказал бы: «Нет, он чужой, он прицепился к нам. Берите его, господин». Но механик ничего не спросил.

Они сидели в трюме два дня и две ночи. Пароход должен был тронуться на рассвете третьего дня. Накануне пришел в пятый раз судовой механик.

— Еще двести, — сказал он злобно, огорченный тем, что эти евреи его так безжалостно надули. Другие брали с них по десять и по двадцать тысяч.

Гордон не слышал, что ответил ему на это требование Цигельницкий. Душный воздух трюма сжал его дыхание и заволок холодом бессилия его глаза. Он упал.

Соседи настояли, чтоб его взяли в судовой лазарет

Он пробыл там целые сутки и очнулся. Когда пароход уже сделал сто узлов и растерял берега, он снова спустился в трюм и не увидел там Цигельницких. Судовой механик продал в последнюю минуту их места за двадцать пять тысяч рублей. Их сбросили на берег за десять минут до отхода «Биконсфильда».

Так Гордон остался на пароходе один, без семьи, невольно обеспечившей ему место.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Снова очутившись в трюме, Гордон стал понемногу знакомиться с его обитателями. В грязи и вони валялись среди кулей и тюков хорошо одетые мужчины и дамы. Уже многие, видно, начали успокаиваться, и в дальнем углу кто-то играл в карты, а одна дама умудрилась даже флиртовать в этом смрадном месте, непригодном для кокетства и легких разговоров. Гордон ее знал. Она была эстрадной балериной и прославилась исполнением танго. Неталантливая, но красивая танцовщица никогда бы не увидела роскошной жизни, если бы в студию, где она училась, не заглянул случайно рыжебородый и чахлый Меерсон, владелец двух оптических магазинов на Преображенской улице. Он увидел ее и сразу влюбился в белоглазую Эмму Зегер, бедную ученицу второсортной студии. Он предложил ей переехать к нему на дачу. «Кстати, она расположена и Аркадин, на берегу залива, рядом с морскими ваннами. Кстати, там есть свободная комната. Стоимость комнаты? Потом! Мы сочтемся потом, когда вы станете знаменитой, и я потребую все деньги сразу за все время! О, я на вас прекрасно заработаю». Балеринка сказала, что она не согласна, нет, ни в коем случае. Это, наконец, неудобно. Через час она уже сидела в саду, на даче Меерсона, и он раскачивал ее шез-лонг. Затем он предложил ей прокатиться с ним на его собственной моторной лодке, и Эмма Зегер снова сказала, что не согласна. Так она пять дней отказывалась от всех предложений и делала все, что он в нее про-

сил, а на шестой стала его содержанкой и вдруг всюду заговорила с гордостью о своей связи. В ее дом ходили владельцы конфекционов с Александровского проспекта, меховщики с Еврейской улицы, содержатели немецких баров с Малой Арнаутской, офицеры, театральные рецензенты. За короткий срок она изменила ему четыре раза, но Меерсон считал, что Эмма только один раз его обманула, и кое-как с этим примирился.

Когда Эмма Зегер купила себе за два бриллианта место на пароходе, Меерсон лежал в больнице. Она скрыла от него свой побег, но все в городе это знали. Знали и на пароходе, в трюме. Меховщики и владельцы конфекционов оглядывали ее с презрением, а их жены неумолчно ее ругали, возмущаясь и гневно перешептываясь. Еще обидней было то, что балерина, так дорого стоившая коммерсанту Меерсону, кокетничала с приказчиком из кондитерской Либмана. Сам Либман сидел тут же, на бочке с маслом, и злорадно посмеивался, говорил про себя, что он — убежденный циник, и его «радует всякое человеческое неустройство, каждая ерунда, глупость и чепуха на нашей сверхдурацкой, архиидиотской и наикретинической планете».

Однако в трюме ожили немногие. Перебираясь через ящики и бочки и бродя по всем закоулкам трюма, Гордон видел удрученные и злобные лица. Кто-то плакал, кто-то неистово проклинал. Уже ругали больше французов, чем большевиков. «Это же понятно, — возмущался меховщик Гантили: — большевики — это большевики, и что с них возьмешь? Но союзники! Французы! Англичане! Ведь на них-то можно было рассчитывать»... И все собравшиеся в трюме коммерсанты в горе своем радовались, что вот они, коммерсанты, оказались доверчивыми, а союзники — подлецы. Всюду, за каждым кулем и бочкой, слышал подобные разговоры Гордон. Одесские буржуа, лишенные удобных квартир и прислуг, вели себя на редкость нечистоплотны, и Гордон удивлялся грязи и вони вокруг них. Почти никто не умывался, не ходил дышать свежим воздухом на палубу, и странно было видеть в

этой смрадной клоаке, наполненной гниющими объедками и испражнениями, чистую и надушенную Эмму Зегер.

Гордон с большим трудом примостился на лестнице, где его часто толкали матросы, а в часы качки швыряло о железные и металлические части. Он легко переносил все неудобства. Зато сверху проникал соленый морской воздух, обдувало свежестью лицо. К концу второго дня Гордон заметил под лестницей двух пассажиров, заглядывавших в длинную и узкую книгу. Один из них, видно, читал быстрее другого и нетерпеливо ждал, пока его товарищ одолеет страницу и перевернет ее наконец. В длинной книге с голубым переплетом Гордон узнал историю еврейского народа, составленную доктором Генрихом Гретцом. С той минуты Гордон стал следить за примостившимися под лестницей пассажирами, вслушиваться в их разговоры. Он понял: они, как и он, едут в Яффу. У того, кто читал быстрее, был очень длинный нос. Желая, пови́димому, скрыть от мира свой физический порок, он вырастил короткие, но пышнозбитые усы. Обильная растительность на губе, действительно, скрадывала величину носа, делала лицо обыкновенным. Длинноносый был одет в рогожный костюм с двумя штемпелями — на груди и на заду — Российского Общества Пароходства и Торговли. Он все время доставал из-за пазухи пакет с гороховым хлебом, отщипывал кусочек и ел, подставляя ладони для крошек. Его товарищ был и моложе и привлекательней. Он снял с себя пиджак и сидел в голубой рубаше без рукавов. Глядя на его черные кудри, на смуглое его лицо и хорошую мускулатуру, Гордон решил, что тот, вероятно, отлично поет и танцует. Приятели читали целыми часами; длинноносый все время жевал гороховый хлеб, а смуглый парень постоянно отставал в чтении и, улыбаясь, поглядывал на нетерпеливого и скорого в движениях приятеля.

Наконец Гордон не вытерпел и подполз к ним.

— Извините... — сказал он. — Я вижу, вы читаете историю Гретца...

— Ну да, ну да. Ну что из этого? — быстро проговорил длинноносый.

— Из того, что вы читаете историю Гретца, — ответил Гордон, — можно заключить, что нам есть о чем поговорить. Вы едете в Яффу?

— Да.

— И я еду в Яффу. Давайте познакомимся.

Длинноносый сказал:

— Илья Шухман.

Смуглый парень назвался Гершом Гублером.

Они рассказали друг другу свои планы. Герш Гублер приехал в Одессу из Литина, где работал подручным у бондаря. Со времен хедера он ничего не слышал о Палестине и мало ею интересовался, так как нужда и забота о хлебе для себя и родителей отнимали все время. Ему было восемнадцать лет, когда петлюровцы устроили погром в его городе. Герш Гублер участвовал в обороне. С топором в руках стоял он на перекрестке, защищая свою улицу. Он замахнулся топором на всадника, но тот ударил его шашкой и промчался мимо. Удар был слабый: через неделю Гублер вышел с перевязанной головой из больницы. Бондарь взял его с собой на собрание сионистов. Двенадцать человек каждый день клялись в верности святой земле и читали журнал «Рассвет» на русском языке. Они боготворили Теодора Герцля, и над их клубом висел плакат со словами сионистского вождя: «Если вы захотите, это не будет сказкой». Герш Гублер видел, что почти все двенадцать юношей — дети образованных и богатых родителей. Еще недавно они показались бы ему чуждыми, но после погрома им ничего не стоило его убедить. Они сказали ему: «Ты видишь, здесь нас ждет позор и гибель. Нас уничтожали, нас уничтожают; исход один — вернуться на свою историческую родину».

В один день до местечка дошла весть о декларации Бальфура. Юноши из клуба целовали друг друга, танцевали и пели, постоянно восклицая: «Англия обещала Палестину евреям. Чудо совершилось. Сказка перестала быть сказкой». Они ежечасно говорили, что хотят до-

мой, на Восток, в святую землю, но когда, воспаленный их речами, Герш Гублер предложил им поехать в Одессу, чтобы оттуда как-нибудь пробраться в Палестину, все отказались: «Видишь ли, Герш, не так просто бросить свои семьи; мы подождем, когда откроются все границы, мы собираемся, наконец, подать петицию, если только удержится советская власть, что мало вероятно, так как она обречена на гибель. Она может еще продержаться месяц, два, три, потом придут французы и англичане»... Но Гублер решил ехать, и один из юношей дал ему письмо в Одессу, к Илье Шухману, дрогисту большой аптеки на Новосельской, против дома, где помещался черносотенный Союз русских людей имени Михаила-архангела. Герш Гублер проникся уважением к Шухману еще до того, как с ним познакомился. Он разыскал аптеку и увидел в окне чудесный голубой шар, поразивший его воображение. Он вошел внутрь, ступая по желтому линолеуму и разглядывая темные дубовые и ореховые шкафы с великим множеством бутылей, бутылочек и банок.

В аптеке было тихо, какая-то мудрая и торжественная тишина царила вокруг. Илья Шухман стоял в отдалении и читал рецепт. В белом халате, окруженный шарами и колбами, он показался Гублеру ученым и недоступно-благородным человеком.

— Давайте ваш рецепт,— сказал Шухман.

Гублер протянул ему письмо, и тот прочел все четыре страницы в несколько секунд. Ладно: он может у него остановиться. Пусть подождет на улице: через час Шухман кончит работу.

Вечером дрогист спросил Гублера:

— У вас есть возлюбленная?

— Нет,— ответил Герш, краснея.

— Очень хорошо! — воскликнул Шухман. — Надо выбирать между идеей и женщиной. Забудьте о них, Гублер! Мы поедем с вами в Палестину и обработаем дикую землю и будем жить в палатках... Вы можете забыть об удобной жизни?

Гублер улыбнулся.

— У меня ее никогда не было, Шухман,

— Очень хорошо! Когда мы крепко станем на ноги и наша родина уже не будет в нас нуждаться, тогда — пожалуйста! Покупайте себе мебель, женитесь... Вы спросите меня: «А если я состарюсь, что тогда?» Тем лучше: вы отдали жизнь идее. Согласны?

— Да, Шухман.

На пароходе дрогист подошел к уснувшему над книгой Гублеру и взял его за плечо.

— Юноша, я вас хочу спросить о разных партиях... Вы понимаете?

— Конечно, — ответил Гублер. — Я очень хорошо разбираюсь в программах.

— Не то, — сказал Шухман. — Мы все сочувствуем революции, но... вы понимаете?

— Нет, — растерялся Гублер.

— Я хочу сказать, что мы с вами — не фабриканты Бродские и не помещики Потоцкие. Каждый трудящийся — это наш брат, мы сами трудящиеся люди, но есть разные взгляды... Вы опять не понимаете?

— Нет, Шухман, — уже робко отвечал Гублер, смущенно поглядывая на таинственного дрогиста.

— Одним словом, — вскричал Шухман, — вы были в большевистских комитетах?

— Нет.

— Очень хорошо! Вы понимаете, что в Советской России вы себе можете быть пролетарием-распролетарием и душить хозяев, как клопов, но там эти штучки нам не нужны: там мы все боремся за одну идею... И я хочу сказать, что там (он показал на иллюминатор) такие вещи скомпрометируют нас перед Англией, которая одна любит евреев и заботится о них. Вы знакомы с декларацией Бальфура?

— Да.

— Очень хорошо! Ложитесь спать и пусть вам приснится наша родина, реки которой еще потекут молоком и медом, как в дни ранней юности нашего народа.

Ему было легко произносить длинные фразы, так как он выпаливал их молниеносно, так что даже сложные его речи казались короткими, оборванными.

Как они попали на пароход? О, совсем не случайно,

Они ходили каждое утро на мол и проводили там весь день, они изучали все корабли, стоявшие у причалов, и вызубрили несколько необходимых фраз по-французски, итальянски, гречески и английски, так как в гавани грузились товарами французские, итальянские, греческие и английские суда. На «Биконсфильд» они пробрались под видом грузчиков за два дня до отплытия. Они прятались под трюмным трапом, за мешками с пшеницей. Их до сих пор никто не обнаружил. Надеяться? Если их даже и высадят в Константинополь, они все равно проберутся в Палестину.

— Надеюсь, вы там будете земледельцем, как и мы? — спросил Гордон Шухман.

— Конечно, — ответил Гордон.

Он помолчал и робко сказал:

— У меня, как будто, есть призвание. Я — скульптор.

— Очень хорошо! — воскликнул Шухман. — Нет, что я сказал! Очень плохо! Скульптура — это потом... сейчас наша родина нуждается в земледельцах... в земледельцах и капитале. Но капитал привезут другие, а мы с вами должны отдать наши руки.

— Я могу заниматься и скульптурой и земледелием.

— Нет, не сейчас, — возразил Шухман. — В первое время надо обо всем забыть... И вот такие штуки тоже выкиньте из головы.

Он показал на Эмму Зегер. Она, не переставая, улыбалась приказчику, а тот обмахивал ее веером, остриг, угощал леденцами.

— Куда он едет? — спросил Гордон.

— Бежит! От советской власти! В Константинополь!

— Он же не коммерсант, а приказчик.

— Он больше, чем коммерсант, — ответил Шухман. — Посмотрите на его конфетную красоту. Вот его коммерция. У него была в Одессе богатая старуха. Вы думаете, ему мало перепало от нее? И разве большевики ему могут обеспечить новую старуху с деньгами? Как вы полагаете?

— Мне никогда не могла бы понравиться такая жеңщина, — сказал Гордон.

— Забудьте! — вскричал Шухман. — Все подобное забудьте!

Через три дня, когда Цигельницкие, оставшиеся дома, уже исполняли трудовую повинность и таскали шпалы для строящейся узкоколейки, пароход «Биконсфильд» остановился на яффском рейде. Сверху бросили якорь. Качаясь на большой волне и обходя скалы, подплывали к пароходу шлюпки.

Гордон увидел зеленый сад на отлогом каменистом холме. Это была Яффа. Темнела листва апельсиновых рощ, шли караваны осликов-водовозов, и выплескивалась из лоснящихся бочек вода. С холма сбегали к морю узкие и путанные улицы. Гордон видел плоские и куполообразные крыши, иногда минареты. Это была Яффа. Проскакали арабы в белых бурнусах и завязанных углом головных уборах, шли к колодцу босые феллашки; одна из них отдыхала под зонтом пальмы. Это была Яффа. На солнце сидела группа старых евреев в черных сюртуках, мимо них быстрой походкой прошел английский солдат, и куда бы Гордон ни посмотрел — он видел белые домики, плоские крыши, темную зелень садов и зонты пальм. Яффа!

Среди плоских крыш и белых лачужек он заметил большой, в несколько этажей, европейский дом. Шухман сказал:

— Я знаю этот дом. Это — убежище для халуцим.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Гордон расстался со своими новыми друзьями. Ему захотелось поскорей увидеть Иерусалим, и он условился с Шухманом и Гублером встретиться там через несколько дней. У Шухмана был адрес: какой-то бывший наборщик, он сдает углы.

— Счастливый путь! — сказал Шухман. — Мы встретимся у наборщика.

У Гордона не было денег на железную дорогу, и он

попросился на пустой грузовик, уехавший в Иерусалим.

— Ладно, — сказал шофер.

Он тоже был из приезжих, и его не пришлось долго уговаривать. У ворот дома халуцим Гордон попрощался с Шухманом и Гублером...

— Этот дом доставил нам много хлопот, — прервал на этом месте мой рассказ мистер Броун. — Здесь разразился один из первых палестинских погромов; он возник из-за чепухи. Англия обманула арабов, каждый пустяк мог послужить поводом для взрыва возмущения против евреев. Арабы считали их сообщниками обманщика Лоуренса. Не помню, но, кажется, автомобиль еврейского врача наскочил случайно на лоток с фруктами арабского торговца. Возник погром. Тогда он был еще в Палестине новинкой, но с тех пор, когда арабы объявили день, в который была возвещена декларация Бальфура, траурным, погромы стали частым явлением, настолько частым, что ваше русское слово «погром» вошло в английский и французский языки.

— Мистер Броун! — воскликнул я. — Какой трагический парадокс! Несчастные люди бежали из классической страны погромов, они бежали оттуда в те дни, когда новая власть уничтожила все условия для погромов, и очутились в Палестине, ставшей для них второй царской Россией. Мог ли такое вообразить Гордон? Его первые письма были письмами победителя. Помню ликование, наполнявшее его длинные послания, — восторженные и заносчивые. Я нашел его первые письма, когда вернулся из армии домой. Ожидая меня, они пожелтели: запечатанные конверты пролежали полтора года.

Подобно иеменским евреям, Гордон не захотел остановиться в Яффе. Перед ним были ворота Иерусалима, и он рвался через них.

Иеменские евреи — Иемен — Счастливая Аравия!

Двадцать лет назад пошел среди иеменских евреев

слух, что Палестина возвращена евреям и что сейчас там делят землю.

«Надо спешить,— говорили они один другому,— мы можем опоздать».

Они бросили свои жалкие земледельческие участки и стада и покинули Иемен, где они родились и где свыше тысячи лет жили их предки. Разбазарив свое имущество нищих, они приехали в Яффу. Здесь ждали их питательные пункты и страшные вести.

Палестина еще принадлежит Турции, а земля — арабам. Но иеменцы не пожелали ни одного дня провести в Яффе. Они рвались в Иерусалим, чтобы прилипнуть губами к жирным мхам Стены Плача, к последним камням, уцелевшим от древнего Соломонова храма.

Гордон прислонился к автомобильному кузову и жадно смотрел по сторонам. Белая дорога, сады, защищенные шпалерами мелкой, глянцевиной зелени. Белая известковая пыль покрыла и зелень и темные плоды, пробивавшиеся сквозь ограды. Бесконечно тянулись апельсиновые сады. Каменные ограды чередовались с заборами из кактусов. Прекрасными чудовищами выглядели эти деревья, чьи листья распластались большими темнозелеными тарелками. Они соединялись между собой ребрами, их усеяли пучки длинных жестких игл.

— Называется опунция,— сказал по-русски шофер. Он заметил удивленный взгляд Гордона.

— Я вижу, вы по древне-еврейски не разговариваете. Я тоже. На вас здесь будут косо смотреть. А русский язык вы хорошо знаете?

— Да.

— Слава богу. Уж лучше разговаривать по-русски, чем на нашем жаргоне: они его не любят.

Шофер работал в строительной организации «Солел-Боне» и отвозил в Яффу ящики со стеклом. Он возвращался в Иерусалим, где помещалось отделение его фирмы.

— Я не понимаю,— сказал шофер,— зачем вы едете в эту богадельню — в Иерусалим? Вам же, я полагаю, нужна работа. Кто ищет ее в Иерусалиме? Надо было

оставаться в Яффе. В Тель-Авиве сейчас строятся две гостиницы, там большие водопроводные работы... Кто едет в Иерусалим?

Гордон слушал шофера и продолжал жадно смотреть по сторонам. Голые желтобурые поля. Шли, позванивая бубенцами, верблюды. Бродили овцы. Вдали от дороги показались темные сторожевые башни. Грузовик объезжал фургон, наполненный старыми евреями. Два бедуина, услышав рожок, увели коней с шоссее.

Дорога пошла вверх. Вдруг показались горы, кремнистые горы Иудеи. Исчезли апельсиновые сады, местность стала скупой и пустынной. Ни дерева вокруг, кроме случайного кустарника, пробившегося из-под скалы. Каменные водоемы. Проехали укрытую в кактусах арабскую деревню. Все круче становилась дорога, все обрывистей голые скалы. Машина поднималась на иерусалимское плато. Она то скрывалась в ущельи, то выходила на просторное поле, и глазам открывалась голубая полоса Средиземного моря. Все увеличивались зигзаги шоссе, и внезапно, после одного из крутых поворотов, показался Иерусалим.

— Остановите! — крикнул шоферу Гордон. — Я прошу вас!

Шофер, все время ласково разговаривавший с Гордоном, вдруг сердито обернулся и заворчал:

— Какое мне до вас дело! Я уже здесь пять лет и, слава богу, насмотрелся. Я спешу домой.

Он не только не остановил машину, но еще быстрее погнался вперед. Гордон разглядывал песчаные холмы Иерусалима, его черные стены с квадратными башнями, множество крыш, наползавших одна на другую... Гордон смотрел по сторонам, сердце стучало. Он соскочил с машины, пошел пешком.

Сколько дней и ночей продумал он о том часе, когда окажется на улицах Иерусалима! Вот он, древний город, вот его улицы, и Гордон ходит по ним. Он оказался где-то в предместьи, заполненном монастырями, гостиницами, темными домиками. Грязная немощеная улица. Лежал на пути широкий овраг. Гордон про-

брался через овраг. Показались глухие улицы, глинобитные заборы. Брели козы. Валялись в грязи голые арабские мальчуганы. Одна улица была покрыта рогожным навесом. На улице Гордон задыхался от жары и вони. Рядом пекли хлеб. Сухой навоз горел на камне. Когда камень нагрелся, хозяин-араб сгреб навоз рукой и разложил тонкие листы теста. Гордон прошел одну улицу, другую, третью. Город, показавшийся ему невыразимо прекрасным сверху, выглядел удивительно бедно. Все прохожие носили рвань, дома были полуразрушены, всюду воняло.

Он вышел на какую-то площадь, увидел здание почты. Вывеска была написана на трех языках: английском, арабском и еврейском. Гордон остановился. К нему подъехал извозчик. Тот пристально его осмотрел и что-то сказал по древне-еврейски. Гордон почти не понял его.

— Мусье,— сказал тогда по-русски извозчик,— я вас отвезу в харчевню.

Перед Гордоном стоял обычный белорусский балагула. Солнце Иерусалима не выпрямило его спины. Черный балагула держал Гордона за локоть.

— Нет,— сказал Александр,— я пойду пешком.

Три балагулы ехали порожними. Гордон пошел за ними. Они ехали шагом, и Гордон положился на них, как на лучших гидов.

Это же были камни Иерусалима! Вон видна в отдалении Западная стена! Надо нарочно закрыть глаза и долго держать их закрытыми, до семицветных радуг, и потом вдруг, внезапно, с размаху, открыть их и увидеть зубцы башен, и увидеть водоемы, и сильно задрожать, и, почувствовав тесноту сердца, с торжественным плачем грохнуться о землю, и, целуя красный прах, лежать ничком до тех пор, пока не растопчет тебя своими копытами конь бедуина. Ой, тоска Иегуды бен Галеви!

Подобно Теодору Герцлю, Александр Гордон пил мед этой тоски не из первоисточника: тоска испанского выходца передавалась ему через дорогую шкатулку Гейне. В эту шкатулку, рассказывал Гейне, Муха упря-

тала бы с большим удовольствием свои гребешки, булавки и наперстки.

— Мусье,— сказал балагула, обернувшись,— Стена Плача — там.

Жадно, как нищий, вглядывался Гордон в толпу, в вывески, в афиши,— будто по всплывшей на поверхность нене пробовал он святую землю.

По улицам шли черные евреи, шли шумные еврейские старухи, молодые люди с папками. На них были клетчатые пиджаки и штаны, стянутые книзу, как ре-спираторы. Шли молодые люди в толстовках. Толстовки пучились сзади, оставалось место для несуществующего горба. Шли арабы, в бурнусах и без бурнусов, в широких штанах, в чалмах и кепи, в плоских фуражках и узкополых, похожих на рукопожатие, фетровых шляпах.

Разглядывая трехязычные вывески, Гордон на-ткнулся на одну, заставившую его вздрогнуть.

«Бе-ца-дел» — вот что прочел он на вывеске серо-ватого, удивительно похожего на сиротский дом особняка. И Гордон отвернул глаза. Бецадел, эту мечту детства, он не хотел увидеть внезапно. Он придет сюда в другой раз, со специальной целью увидеть Бецадел. Рассказы о художественных мастерских, где еврейские юноши создавали свое новое искусство, были самыми волнующими рассказами, услышанными им в темных коридорах Явне. Он так любил еврейское искусство, что национальным художникам прощал даже их недостатки. В немощных очертаниях рисунков Лилленблюма он видел благородство печали. Не только терпимо, но с любовью хранил он у себя кучу дешевых изображений древних еврейских воинов. Все, что показывало былую силу, приближало к себе сердце Гордона. Навин с воздетой рукой, Давид в тунике, Маккавей в панцире, Иевфай в шлеме — какой это был утешительный парад! Навином станет Владимир Жаботинский, Давидом — доктор Клаузнер, Маккавеем — Хаим Бялик, а Иевфаем — Усышкин. Кем же станет Гордон? Гордон будет носить белый халат. В одной из прокладных комнат Бецадела — в комнате, пахнущей

покоем гипсовых масок и орнаментов,—будет он стоять в углу, у окна, и лепить воздетую руку Навина — Жаботинского, тунику Давида — доктора Клаузнера, панцырь Маккавея — Хайма Бялика и шлем Иевфая — господина Усышкина. Есть ли у Усышкина дочь, чтоб принести ее в жертву? Гордону захотелось влюбиться в воображаемую дочь Усышкина. Он вообще мечтал о любви к дочери Сиона: пятница, синева вечера, он возвращается с поля. Она живет в Иерусалиме, где учит детей грамоте. У нее белое лицо, матовая кожа, добрые глаза. Зажигая подсвечники, она поет. С гор приходит Александр. Чужие дети садятся с ним за стол. Дочь Усышкина разливает бульон.

— Мусье,— еще раз обернулся балагула,— вы можете у меня остановиться.

Гордон внезапно очутился в торговой части города. Сильно запахло жареным. В России эти запахи были забыты. В городе, покинутом Гордоном, базары были разрушены. В распиленных лабазах прятались последние торговки. Они продавали вареную кукурузу. Жареным там не пахло.

Гордон прошелся по Булочной улице, вышел на Суконное поле, обогнул Рыбные ворота, отдыхал в Плотничьей долине. Сознание, что эти названия сохранились еще со времен Давида и Соломона, слегка опечалило его. Это была легкая, лишенная тоски печаль,— печаль, навеваемая воспоминаниями.

В воздухе — сухо. Ветер нес пыль. Из Армянского квартала вышли три армянина с незажженными фонариками в руках. Они отправлялись в далекий район и рассчитывали притти домой ночью.

Гордон остановил газетчика и купил у него три газеты: две еврейских — «Гааритц» и «Эрец-Израиль» — и одну арабскую — «Истиклал».

— «Истиклал»! — кричал газетчик. — «Истиклал»!

Гордон рванулся было остановить газетчика и спросить его, но по его черным глазам не мог определить, кто он — еврей или араб.

— Слушай, брат... — сказал Гордон на жаргоне. Но увидел, что газетчик не понимает, и пошел дальше.

Он глядел в арабскую газету, как в нефтяную лужу, в которую сколько ни гляди, не увидишь своего отражения. Еврейские газеты он тоже читал с трудом, так как язык, на котором они написаны — древне-еврейский, — знал очень смутно. Но в немногих строках он сейчас же нашел сообщения и о Хаиме Вейцмане, вернувшемся из Парижа, и о Жаботинском, и об инженере Руттенберге, задумавшем осветить электричеством страну.

Как-то случилось, что первыми историческими местами, какие посетил в Иерусалиме Гордон, были не памятники могущественного прошлого Иудеи, но священные места христиан. Блуждая, он оказался в западной части города. Он вступил на *Via Dolorosa*, так называемый Скорбный путь.

Гордон взглянул налево и увидел Вифезду-Овчую купель, потом увидел церковь Анны-пророчицы и рядом с ней — часовню. Пузатые церкви его настоящей — неисторической — родины встали в его памяти. Здесь, в песках и камнях Иудеи, он увидел православные церкви с их громадными куполами, обилием темных и тяжелых икон и душными запахами курений — те церкви, какие он в изобилии встречал на каждой улице родного города в России.

«Свет мой затменный! свет мой затменный! свет мой затменный!» — гнусавил нищий, постукивая о камни пустой чашкой.

На церковных дворах были сложены дрова. Мелькали головы двух монахов. Они пилили доски. Их замечательно здоровые лица, на славу украшенные румянцем и сочной растительностью и увенчанные клобучками из саржи, были достаточно хорошо знакомы Гордону: в детстве он встречался с ними у ворот Пантелеймоновского подворья. Наткнувшись на рясу, Гордон убегал, растревоженный: он все боялся, что какой-нибудь монах затащит его во двор и там опустит его в купель. Монах окрестит его, оторвав навсегда от привычных и милых образов древней Иудеи.

Так Гордон пробродил до вечера, так он и не увидел в первый день своего пребывания в Иерусалиме ни Стены Плача, ни башни Давида.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Бывший наборщик жил в юго-восточной части города, в еврейском квартале. Он покинул Россию в 1905 году, после погромов. Здесь он не нашел работы по специальности и делал все, что попадалось. Молодежь, с которой он прибыл, не взяла его с собой в колонию.

«Ты нам не годишься,— сказали они:— у тебя дочка».

Они сняли участок на пути из Яффы в Иерусалим. То было усеянное камнями поле — бесплодное и суровое. Они назвали свой участок «Кадимо» и целый год очищали его от камней. Они жили в палатке, вставали с восходом, переносили на руках тяжелые каменные глыбы, выбрасывая их за ограду. С обеих сторон своего пустого участка они поставили сторожей. Днем и ночью не отходили сторожа от своих шалашей. Однажды мимо проехал турецкий гаймакан. Колонисты собрали последние лиры, дали взятку.

На второй год они очистили свое поле и вспахали его. Затем привезли из Яффы апельсиновые деревца и рассадили их ровными линиями по скату участка. Они чуть не поссорились между собой, так как одна часть говорила, что уже пора строить дом, между тем как другие доказывали, что дом строить рано. Из девятнадцати человек остались пятнадцать. Двое заболели малярией и зачахли от постоянных приступов. Один умер тут же, в Кадимо. Еще не было дома, но уже была могила с древне-еврейской надписью в стихах из книги Бялика. Другой переселился в Кайфу, где давал уроки приезжим. Еще двое не выдержали: их задавила тяжелая работа и жизнь без горячей пищи, без мягкой постели под крышей, и они уехали обратно в Кишинев.

Прошло пятнадцать лет. Апельсинные деревья выросли. Колонисты выстроили дом, купили лошадей и коз. Но ныне женились, наплодили детей, и, когда выпадал неурожайный год, нищета колонии оказывалась еще страшнее, чем раньше. Два раза им помог Национальный банк. У них образовались неоплатные долги, но они гордились тем, что в Кадимо — триста жителей и своя школа. Они гордились тем, что к ним возмани приезжих показывать героев-халуцим — ранних колонистов еврейской страны.

Все эти годы наборщик искал работу. Он то находил ее, то снова терял. Одно время он служил носильщиком в Хайфе, потом работал на прокладке шоссе в Гааге. Он побывал и на соляных промыслах и в поместьях богатого араба.

— Я работал, — рассказывал он, — в садах и виноградниках самого Мусы-Казим-паши Эль-Хуссейна.

Муса-Казим-паша Эль-Хуссейн был крупным феодалом, одним из двадцати пяти богатых арабов-помещиков, которым из двадцати миллионов денумов всей плодородной земли принадлежало пятнадцать миллионов. Его виноградники и апельсиновые и оливковые рощи были самыми плодоносными в Южной Самарии, а Иерусалимские горы были изрыты его масличными террасами.

Квартирохозяин Гордона рассказывал, что он только на днях вернулся с работы у Эль-Хуссейна.

— Сколько же вы заработали?

— Два фунта.

Он готовился прожить зиму на четыре египетских фунта. Остальные два обещал ему за угол Гордон.

— Из первого заработка, — сказал он, прикладывая руку к сердцу.

Хозяин сам долго страдал здесь без ночлега и повернул ему.

«Я брожу по Иерусалиму, — писал Гордон, — я целые дни брожу по Иерусалиму. Я только могу и делать, что бродить по Иерусалиму. Наша еврейская молодежь его ругает, а между тем он прекрасен. Они

говорят: «Иерусалим — город старья, он мешает развитию новой Палестины. Молодому человеку стыдно жить в Иерусалиме среди больниц и богаделен, среди жалких стариков, проводящих все дни у Стены Плача»... Я побывал, наконец, у Стены Плача, и знаешь ли ты, кого я там встретил? Нашего ребе Акиву!»

Гордон заполнил историей о нашем ребе Акиве длинное письмо. Тогда же он прислал мне множество снимков. Признаюсь, он взбудоражил меня. Я никогда не был за границей, и меня всегда — и сейчас — волнуют чужие земли. Какая там трава, какие дома и деревья, какие поля и дороги — все это хочется увидеть своими глазами. Я родился с душой путешественника. Я хотел бы побывать в Скандинавии и Абиссинии, Калифорнии и Греции. Иногда мне кажется, что мне в жизни ничего не надо, кроме долгих и утомительных путешествий, но я обречен ловить тени дальних краев и стран. Я знаком с ними по книгам, по рассказам друзей, по снимкам и фильмам, но никогда не видел чужой земли своими глазами.

Гордон встретил ребе Акиву, и о нем надо рассказать, так как встреча не была единственной, и наш хедерный патриарх еще раз вмешался на старости лет в жизнь своего ученика. О нашем ребе Акиве Розумовском можно сказать, что он начал свою жизнь после смерти. Когда мои родители меня с ним свели, мне шел пятый год, — Акиве же исполнилось шестьдесят. В его семье не осталось ни одного живого человека: жена умерла от холеры, а единственная дочь была повешена в Киеве: она покушалась на жизнь губернатора. Акива встретил меня ударом по спине.

— Доброе утро, — сказал он. — Что ты знаешь?

Я ответил:

— Алейф, бес, гумель, далед... все двадцать пять букв.

Тогда он посадил меня на скамейку и раскрыл пятикнижие.

— Читай хумеш! — сказал он, закручивая мои пейсы, как лошадиный хвост.

У него не было помощника, и он сам собирал своих

учеников: ему приходилось вставать ночью, зажигать фотарь, надевать на себя свой горбатый сюртук и лиловые чулки и отправляться за своей школой. Помолвившись и нанюхавшись табаку, он уходил из дому со словами:

— Пойду собирать своих евреев.

Он вытаскивал нас из постелей, награждая щипками и насмехаясь над нашими сонными слезами.

Наше учение было бессмысленным. Единственное, чему он нас учил, это петь изо всех сил, не жалея вдохновения. Вопросы же его были следующие:

— Эй, ты, номер первый! как звали праматерь Рахиль?

Он кричал, стуча суковатой, как кадык, палкой:

— Эй, ты, номер второй! сколько лет девяностолетнему Исааку?

На эти вопросы был только один ответ: праматерь Рахиль — звали Рахилью, а девяностолетнему Исааку было девяносто лет. Но кто в те годы понимал такие вещи?

Мой ребе Акива любил разговаривать с животными, птицами и деревьями. Он упрекал их всех в глупости и незнании закона. Сколько раз Акива Розумовский обращался к извозчицкой лошади нашего соседа:

— Неразумная лошадь! — распекал ее ребе. — Разве ты не знаешь, что в субботу нельзя много бегать? Разве твои глупые глаза могут видеть разницу между кошерным и тrefным?

Когда на подоконник садилась ласточка, ребе говорил:

— Разве у тебя есть заграничный документ, ведь ты прилетела к нам из Египта? Глупая птица! Ты неспособна понять, что в каждой стране есть граница, и если у тебя есть охота ее украсть, надо заплатить четвертной билет. Вот ты уже улетела, дура!

А нашу яблоню, упрятанную в булыжник, Акива упрекал за расточительность и неразборчивость:

— Ты даешь плод — это хорошо. Но к тебе подходит неуч, и ты позволяешь ему сорвать с себя яблоко. Нет, ты не можешь ударить его по рукам...

За всю жизнь Акива Розумовский только два раза покинул Мясоедовскую улицу. В первый раз его вызвали на допрос к самому губернатору, в другой раз он пошел на Троицкую, к мусье Перемену, за новым молитвенником из Вильны. Придя домой, он поделился с соседом-извозчиком своими впечатлениями.

— На Александровском проспекте,— рассказывал ребе,— появились два новых меховщика. Блюмберг строил каменный дом. Около магазина Бомзе стоит швейцар...

Акива Розумовский любил выходить на улицу, когда мимо несли покойника.

— Борух дайон эмес,— шептал он молитву, присоединяясь к процессии.

Он шел с ней до Косарки, потом возвращался домой, мыл над тазом руки и обращался к нам со словами:

— Босяки! Если бы вы знали, какой это был золотой человек! Борух дайон эмес, борух дайон эмес...

Акива любил, чтобы ему чесали спину. Он подзывал кого-нибудь из нас и говорил:

— Взойди на табурет и почеси мне...

Мы чесали, а ребе Акива все подбавлял пару.

— Выше! Ниже! Ниже! Еще ниже! Выше!— кричал он, весь извиваясь.

Однако наших трудов ему было мало: он часто подходил к двери и долго терся своим горбом о ее косяк. В дни особых праздников ребе Акива любил напиваться: когда его бывшие ученики женились, когда мусье Блюмберг дарил синагоге новый свиток торы и когда погром, который должен был произойти со дня на день, неожиданно не состоялся. Напиваясь, Акива кричал:

— Я прошу вас: не подпускайте меня к невесте! В такие минуты я могу ей сделать шрам на всю жизнь.

Я помню его пляшущим вокруг амвона, в новой синагоге Ареле Полоумного. Свои желтые от нюхательного табака пальцы Акива засунул подмышки, а ко-

лени расставил врозь. Он качался слева направо и справа налево, танцуя вокруг амвона.

В один день Акива Розумовский закрыл свой хедер. Почувствовав близость смерти, он решил поехать в Палестину, чтобы там, в городе Иерусалиме, испустить свой последний вздох. В день воскресенья его усталым костям не придется путешествовать по всему свету.

— Текуа! — затрубит в рог Мессия.

— Текуа! — ответят гости. — Мы тут, рядом.

За много лет ребе Акива накопил четырнадцать серебряных рублей. На эти деньги он купил себе билет до самого Иерусалима. Приехав в святую землю, Акива Розумовский явился в правление Халуки и записался там, как умирающий. Ему выдали чистое белье, полотно на саван и месячное жалованье. Он поселился в богадельне Монтефиоре, в десяти шагах от Иосафатовой долины, дабы, сделавшись трупом, не затруднить людей, занятых рыданиями у Стены Плача. В первые дни он обошел все священные места: несуществующую гору Морию, несуществующий храм Соломона, башню Давида и Западную Стену. Но чаще всего посещал он путанные коридоры Иосафатовой долины с ее друг друга перекрывшими могилами и сцепившимися надгробьями. В этой каменной сутолоке трудно было найти для себя местечко. Здесь было тесно, как в России, в отличие от просторных комнат богадельни Монтефиоре.

В богадельне Акива Розумовский в первый раз познал сладость пищи и отдыха. Его сморщенный желудок не огорчался более ржавчиной астраханской селедки, выкупанной в уксусе, оголившихся десен не касался более черствый хлеб, выскиваемый на базаре за дешевку. В богадельне Монтефиоре Акива ел, как генерал Думбадзе.

По утрам ему приносили горячий кофе с бисквитами, замешанными на яичных желтках, в полдень он погружал свою ложку в сладкий рис, в бараний жир, в колышающуюся массу яблочного киселя. Иногда подавали глиняный кувшин с натуральным вином горы

Кармель. Перед сном Акива вливал в себя стакан кислого молока. Все эти ласковые блюда согрели его начавшее охладевать тело. Он перестал кричать по ночам и, случилось, что его сосед, «умирающий из Бухареста», поймал его на том, как он однажды пропустил полуночную молитву. Погруженный в мягкую и круглую перину, Акива проспал полночь. Он сказал умирающему из Бухареста:

— Пусть всемогущий и всевышний и вездесущий простит меня за страшный грех, но я чувствую, сосед, что я отхожу! Как вам это передать? Похоже, что я притаился в баню разбитый, как тачка, и выкупался там всеми водами...

— Я понимаю.— сказал умирающий из Бухареста.

Акива Розумовский стал прогуливаться по Иерусалиму. Он приносил каждый вечер короб новостей: из России приехала партия русских богомольцев, они покупают свечи к страстному четвергу; дочь Перемена поступила в Бецалел; в синагоге на Рыбной улице послезавтра выступит кантор из Варшавы.

Уже несколько месяцев Акива получал жалованье в Халуке. Его мучила совесть. Расписываясь в платежной ведомости, он думал, что с каждым днем могила все дальше от него уходит. С каждым днем он чувствовал себя лучше, на костях появился жир, синие жилы ушли вглубь, живот стал выходить вперед из того глубокого провала, куда загнала его прошлая жизнь.

— Если так будет дальше продолжаться,— жаловался он умирающему из Бухареста,— они снимут меня с жалованья и выгонят из богадельни.

Гуляя по Иерусалиму, Акива однажды остановился на Яффской улице у кинематографа. Он долго рассматривал картинки, где маленький человечек в длинных, как саван, штанах и поломанном, как у маклера, котелке падал то в воду, то в тесто. Его били по голове то ведром, то качалкой, то венником, то стулом.

«Ай, босяки!» — подумал Акива и вошел в кинематограф. Эту игру теней, которую он видел впервые, ребенок назвал: «Люди танцуют на своем саване». Не досидев до конца, потому что он не понимал, в чем же смысл

этой драки, он вышел в фойе и разговорился с хозяином кинематографа.

— Откуда, еврей?

Хозяин был родом из Кишинева. Там у него была мастерская часов. Подобно Розумовскому, он приехал сюда умирать. Но дело затянулось и, в ожидании смерти, он открыл на Яффской улице кинематограф.

— Я же смотрю,— сказал, хозяин, показывая на зрительный зал,— же еврейское дело.

— Сколько же это дает?— заинтересовался Акива.

Хозяин ответил, что было бы грех жаловаться, если бы не арабские мальчуганы, пролезающие без билетов.

— Я не могу за всеми уследить.

Старики разговорились, и в конце беседы еврей из Кишинева сказал:

— Ваше дело, я вижу, тоже затягивается! Поступите ко мне сторожем, и я вам буду платить две турецких лиры в месяц. Жить вы можете у меня.

Акива охотно согласился и покинул богадельню Монтефиоре. В доме кишиневского еврея, выписавшего потом сюда свою семью, ему отвели угол у восточной стены. Он обедал за общим столом вместе со своим хозяином, его женой Фейгой и внучкой Малкой.

Пятнадцатилетняя Малка была сиротой. Ее мать развелась с мужем, а отец был убит в Манчжурии. За столом бывало шумно и празднично. Малка наполняла эти часы всеми цимбалами своего голоса.

Ребе Акива, ничему меня не научивший, сам знал очень много. Исполне свободно, без всякого провозника, мог он пройти по коридорам Мишны и Гемары, заходя во все закоулки. Хозяин очень уважал его за ученость и был крайне доволен, что Акива согласился обучать его внушку чтению Раши и Онкелоса. Шумная Малка скоро привыкла к муравьиным буквам, лигатурным нажимов, закруглений и пунктуации. Глядя на свою ученицу, Акива чувствовал, что он все больше и больше «отходит».

— Я отхожу,— жаловался он кишиневскому ев-

рею.— Если раньше от могилы отделяло меня десять шагов, то сейчас я должен пробежать к ней несколько верст.

Он стал брать с собой Малку в кинематограф ее дедушки. Неудачники савана ее забавляли. Она громко смеялась, мешая скрипачу играть. В особо поражающих ее местах она хваталась за локоть сидевшего рядом с ней мальчугана. Чаще всего это был араб Муса, злостный безбилетник. Акива справился со всеми любителями даровщины, но сын феллаха пугал его своим взглядом.

Во время одного урока с Малкой Акива вытащил из-за пазухи пушистый белый платок.

— Ой! — воскликнула Малка. — Что это такое дядя?

— Это платок, — с талмудическим спокойствием ответил Акива.

— А зачем вам платок? — не понимала Малка.

— Один человек, — ответил Акива, ущипнув ее за щеку, — будет его носить.

— Кто, дядя?

— Ты! — ответил Акива, ущемив ей подбородок.

— Но ведь это же ваш платок? — все еще не понимала Малка.

— Я тебе его дарю, — важно сказал Акива. — Носи на здоровье, Малка! За подарок надо дядю поцеловать.

Он задержал ее губы на своей щеке, и она с силой от него вырвалась.

— Какой ты колючий, дядя, — пожаловалась она, растирая щеку.

Вечером старая Фейга застала Акиву у ручейка. Он купал свою бороду, добиваясь мягкости от своих затвердевших волос. Фейга ужаснулась.

А через самое короткое время ее муж, кишиневский еврей, сообщил ей, что ребе Акива Розумовский хочет жениться на их внучке.

— Это — ученый человек, — добавил от себя кишиневский еврей. — Один бог знает, какой это ученый человек.

Фейга не хотела, ее муж настаивал, а девочку не

спрашивали. Незадолго до войны турок с англичанами Акива Розумовский встал с Малкой под балдахин.

Таким образом, Акива стал акционером кинематографа и мужем шестнадцатилетней Малки.

Некоторое время они жили хорошо. Акива вознаграждал свою жену многими подарками, среди них были шелка из Лондона, браслеты из Константинополя и ситцы из Москвы. Он повез ее на извозчике через Иудейские горы, в колонию Рош-Пино. Здесь он показывал ей старинных колонистов и винные подвалы барона Ротшильда. Все это сам Акива узнал здесь, когда начал свою жизнь в богадельне Монтефиоре. Он проехал со своей молодой женой мимо Вифлеема, чтоб показать ей, как бог наказывает женщин за ложь. Здесь, по преданию, похоронена праматерь Рахиль, обманувшая отца.

И Акива показывал ей христианский Вифлеем с его русскими гостиницами, монастырями и толпами богомольцев.

— Не лги! — закричал на Малку Акива. — Никогда не лги, жена! Ты умрешь молодой! Ты сгниешь! Тебя сожрет огонь!

Он начинал ее ненавидеть за возможную ложь. Он замечал, как, сидя у окна, она следит с любопытством за проходящими бедуинами. Старик знал: за любопытством приходит страсть. Тогда он отгонял ее от окна и осыпал упреками за возможные мысли. Их жизнь начинала портиться. Когда же кончилась война с турками и вместе с победителями-англичанами в Иерусалим пошел арабский месопотамский отряд, ребе Акиве Розумовскому, впервые за свою жизнь, пришлось узнать ревность.

Однажды он сидел у своего кинематографа. По Яф-феской улице гуляло много английских офицеров. Один из них подошел к витрине кинематографа и стал смотреть картинки. Потом он подошел к Акиве, всмотрелся в него и сказал по-турецки:

— Слушай, старик, я тебя, кажется, знаю.

— Я всегда на улице, — ответил Акива, узнавая офицера.